

ГРАН-ПРИ ФРАНЦУЗСКОЙ
АКАДЕМИИ ЗА ЛУЧШИЙ РОМАН
2021 ГОДА

ФРАНСУА-АНРИ ДЕЗЕРАБЛЬ
*Властитель мой
и господин*

РОМАН

18+

Давно уже ни один писатель
так не изображал любовную страсть.
“Гонкур” для автора, пожалуйста!

LIVRES HEBDO

CoRpus

Франсуа-Анри Дезерабль

Властитель мой и господин

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Дезерабль Ф.

Властитель мой и господин / Ф. Дезерабль — «Издательство АСТ», 2021

ISBN 978-5-17-145904-8

Франсуа-Анри Дезерабль, автор нашумевшей книги о Ромене Гари “Некий господин Пекельный”, начал печататься в 2013 году и с тех пор успел стать обладателем громкого имени и десятка литературных наград. “Властитель мой и господин” – головокружительная история любви. Идет судебное расследование. Молодого поэта Васко обвиняют в преступлении на почве страсти. Тетрадь со стихами подследственного служит главной уликой против него. Вся цепочка невероятных событий, начиная с первой встречи влюбленных, мучительный любовный треугольник и безрассудства потерявшего голову Васко складываются в блестящий авантюрный сюжет с множеством перипетий, страданий, сомнений, комических ситуаций и бурных сцен. К делу приобщен даже револьвер, из которого Поль Верлен когда-то стрелял в Рембо. Роман принес Франсуа-Анри Дезераблю Гран-при Французской академии. В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-145904-8

© Дезерабль Ф., 2021

© Издательство АСТ, 2021

Содержание

1	6
2	7
3	9
4	12
5	16
6	19
7	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Франсуа-Анри Дезерабль

Властитель мой и господин

© Éditions Gallimard, 2021

© Н. Мавлевич, перевод на русский язык, 2022

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Издательство CORPUS ®

* * *

Тебе

*Нежна ты иль тверда, как скалы?
Твое лукаво сердце
Иль невинно?
Не знаю, но оно, спасибо небу, стало
Властителем моим и господином¹.*

Поль Верлен

*Я хотел изображать сознание происходящего, бег времени².
Анри Мишо*

¹ Перевод Ирины Кузнецовой.

² Перевод Бориса Дубина.

1

Я понял, что добром все это не кончится, едва переступил порог оружейной лавки. Так позже, много позже признаётся Васко, когда мы с ним будем вместе сидеть на террасе кафе. В тот день – то есть в день, когда Васко зашел в оружейную лавку, – он получил письмо с настолько серьезными угрозами, что решил обзавестись огнестрельным оружием.

Дело было в октябре, в пятницу около полудня, неподалеку от Северного вокзала. В витрине, скажет мне Васко, кроме винтовок и пистолетов, всяких браунингов, кольтов, люгеров и беретт, – слова знакомые, но он едва ли знал, что именно они обозначают: модели или виды оружия; “беретта”, например, это что: название системы или одной определенной марки, или же имя собственное, ставшее нарицательным? – помимо этого всего, в витрине было разложено холодное оружие: кортики, шпаги, кинжалы, ножи и даже сабля для шампанского.

Хозяин лавки сидел внутри на табуретке, перед компьютером, с бутербродом в руке.

Он поднял голову: чем могу служить?

Да вот, сказал Васко, я думаю вступить в стрелковый клуб, что вы мне посоветуете?

Эээ, протянул оружейник, придется вам зайти через годик...

И объяснил Васко, что все не так просто, у нас не Америка, где каждый может вынести из магазина в бумажном кульке пистолет, точно дюжину пончиков, – нет, во Франции требуется разрешение, а чтобы получить его, надо соответствовать определенным условиям: быть совершеннолетним, состоять в стрелковом клубе, не иметь за плечами судимости и принудительного психиатрического лечения и так далее. Обращаться за разрешением следует в префектуру, приложив к заявлению кучу бумаг, документов, справок, свидетельств, анкет, и все это может затянуться на месяцы, если не на целый год, а могут, посулил оружейник, и вовсе не дать разрешения, учитывая все эти нынешние теракты.

А что делать, если мне угрожают и я должен защищаться? – спросил Васко.

В таком случае лучше всего, посоветовал оружейник, подойдет телескопическая дубинка, вот такая, как эта. Он достал из витрины черную никелированную дубинку с рукояткой из рифленой резины, чтобы не скользила в руке, – “идеальная модель экстра-класса всего за 59 евро и 90 сантиметров”. Дайте-ка посмотреть, попросил Васко. В сложенном виде дубинка была длиной в двадцать один сантиметр, а в раскрытом – пятьдесят три, в самый раз, чтобы держать нападающего на расстоянии.

Лучше так, чем никак, подумал Васко и вышел из лавки с телескопической дубинкой в нейлоновом чехле. Почти месяц он выходил из дому не иначе как с этой дубинкой и с замираньем сердца, потому что каждую минуту ждал, что столкнется у подъезда с Эдгаром, вооруженным бейсбольной битой; тот так ведь и написал в своем электронном письме: мозги тебе вышибу битой.

Для самоуспокоения Васко нежно поглаживал дубинку – “Ты ж моя хорошая!”: достаточно схватиться за рукоятку, тряхнуть, и хоп! – она раскроется на всю длину. И превратится в мощное оружие – врежешь разок в челюсть, обещал оружейник, и твой противник полгода будет только жидкий супчик хлебать. Вот так Васко и думал об Эдгаре: только подойди – будешь у меня полгода на жидком супчике.

2

Так вот это о чем! – воскликнул судебный следователь:

Ни кольт, ни люгер,
Ни браунинг, ни беретта,
Жри супчик, Эдгар!³

Ну да, сказал я. Это хайку. Посчитайте слоги: пять – семь – пять. Всего семнадцать. Где же семнадцать? – Следователь тихонько бормотал по слогам и загибал пальцы:

Ни-кольт-ни-лю-гер (5)
Ни-бра-у-нинг-ни-бе-рет-та (8)
Жри-суп-чик-Эд-гар (5).

Во второй строчке не семь слогов, а восемь.

Нет, семь. Из-за дифтонга: *брау* — это один слог. В стихах слоги могут укорачиваться или удлиняться, если это нужно для размера. Вот, например, если сказать “ты судья, блюститель права”, это будет не только грубая лесть, но еще и четырехстопный хорей, а если по-другому: “ты судия, блюститель права”, получится уже четырехстопный ямб. Так что, считая *брау* одним слогом, мы получим в строчке семь слогов, а в трех – семнадцать. Но вы меня вообще-то не затем позвали, чтоб я вам курс стихосложения читал.

Верно, сказал следователь. Вюйбер, принесите мне вещественное доказательство номер один.

Секретарь пошел за вещдоком номер один, а следователь тем временем закурил сигаретку. Он и мне предложил, но я не курю, никогда в жизни не курил, тогда он стал курить один, пуская дым в открытое окно и задумчиво глядя на фонтан Сен-Мишель; волосы его трепетали, их трепал ветерок, жабо ниспадало на грудь – ни дать ни взять поэт, а может, поэзия и была его истинным призванием и жить он хотел как поэт. Может, он очутился на студенческой скамье юридического факультета случайно, потом, случайно, в Национальной школе судопроизводства, а позже, уж совсем случайно, – в парижском Дворце правосудия, где изучал дела, расследовал обстоятельства, допрашивал свидетелей, но в глубине души все это время мечтал об одном – стать поэтом или просто играть в поэта, принять подходящую позу: разглядывать закат над Сеной в съехавшем набок жабо и декламировать сонеты.

Вот о чем думал я, ну а он... он думал о бесстрастных реках, об Аквитанском принце на разоренной башне, о том, что плоть, увы, устала и что издалека льется тоска скрипки осенней⁴, или о более прозаических вещах: о том, что скоро надо забирать из школы сыновей и не забыть зайти в химчистку – жена просила взять оттуда ее черную кожаную юбку, о сетчатых чулках с кружевными подвязками, которые она иной раз под нее надевает, а может, ни о чем не думал. Открылась дверь, вернулся секретарь, следователь потушил окурок о край подоконника.

Узнаёте его? – спросил он.

Если не ошибаюсь, это секретарь, ответил я.

Секретарь улыбнулся, а следователь лишь нахмурился.

Нахмурился и показал на доказательство номер один, которое принес секретарь: вот этот предмет узнаёте?

³ По просьбе автора все стихи из тетради Васко даны в оригинале в конце книги.

⁴ Образы из хрестоматийных произведений А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена. (Здесь и далее – прим. перев.)

Еще бы не узнать! Я часами глядел на него, поглаживал рукоятку и дуло, брал с величайшей осторожностью в руки. Даже в шутку наводил его на Васко, нажимал на крючок, слушал, как звякает внутри, когда стреляешь вхолостую, без патрона, и собачка ударяет по барабану. Я бы узнал его из тысячи.

Ну так что, узнаете?

Я мог бы ответить нет, не знаю, никогда не видел этот шестизарядный лефшоэ седьмого калибра, мог бы ответить – сожалею, вижу первый раз, но вспомнил, что давал присягу – клялся говорить правду и ничего, кроме правды, вспомнил, что даже поднимал правую руку, глядя в глаза следователю, тут, в его кабинете, и было видно, что шутить он не расположен.

Дайте-ка посмотреть, сказал я.

И вот я снова совсем близко видел этот револьвер и снова разглядел через прозрачный пластиковый пакет выгравированные на стволе перед барабаном буквы *ELG* со звездочкой, инициалы *JS* и, разумеется, серийный номер 14096, столь скандально прославленный в истории литературы.

Да, узнаю, признал я.

Следователь обрадовался: что ж, отлично! Продолжим устанавливать связь между револьвером и этой тетрадью.

Тетрадь – это первое, что он показал мне, когда я явился в его кабинет. Обыкновенная, фирмы “Клерфонтен”, в крупную клетку, формата 21 на 29,7 см. Из девяти страниц уцелело чуть больше половины, остальные нашли свой конец в моей мусорной корзине. Под тонкой прозрачной обложкой черным фломастером написано:

ВЛАСТИТЕЛЬ МОЙ И ГОСПОДИН

В тетради были стихи. Это нашли при Васко: револьвер и исписанную тетрадь с двумя десятками стихотворений, после баллистической экспертизы к этим уликам присоединилась третья: пороховые следы на руках. Вот и все, подумал тогда я, что осталось от великой любви.

Ну и ну, сказал я. Следователь не зря призвал меня – он не без основания полагал, что я помогу ему разобраться в этом деле. Настоящая головоломка, пожаловался он, совсем нет свидетелей, вернее, свидетели есть, целых двести пятьдесят человек, но ни одного объективного, все так или иначе знали жертву, и все как один были на стороне жертвы и дружно хаяли подследственного, а сам он знай повторял одно имя: Тина. Тина-Тина-Тина, – без конца твердил Васко, как будто это заклинание могло ее вернуть. Спросите у Тины, упорно говорил Васко, но эта самая Тина, жаловался следователь, сотрудничать со следствием отказывалась; Васко же отсылал его к тетради: все в ней, прочитайте стихи.

Хоть вы мне объясните? – взмолился тогда следователь.

Я слыл лучшим другом Васко. И был одним из самых близких друзей Тины. Вот почему он, следователь, возлагал особые надежды на меня. Я согласился разъяснить ему все, что он хочет, и даже, если угодно, дать толкование стихам, предупредив, однако, что это может занять много времени и ему придется запастись терпением. Раскрутить это дело – это целое дело!

Мне платят, сказал он, за то, чтобы я слушал, что мне скажут.

С чего начать?

Расскажите о ней. О Тине.

3

Молчание. Первое, что я услышал от Тины, было молчание.

Ее тогда пригласили в утренний эфир на радио поговорить о ее новой пьесе, и ведущий спросил, что делает театр: лишь воспроизводит реальность или преобразует ее, стремясь достичь универсальной формы, – обычно на такой вопрос отвечают общими словами, но это же Тина: она привыкла взвешивать каждое слово, поэтому задумалась всерьез.

Повисла пауза, которую ведущий заполнял, как мог: сообщал время (9 часов 17 минут), напоминал название станции и имя гостя, ее возраст (двадцать восемь лет), профессию (актриса), заголовок пьесы (“Два с половиной дня в Штутгарте”), в которой она так играла, что получила премию Мольера в одной из номинаций (лучший женский дебют), и, наконец, содержание этой пьесы (последняя встреча Верлена и Рембо – два с половиной дня, которые они провели вместе в Штутгарте в феврале 1875 года), пока не догадался сформулировать вопрос иначе: театр – это мимикрия или мимесис?

Я был дома, чистил зубы в ванной, а приемник стоял на стиральной машине, так что мне было слышно, как течет тонкая струйка воды, а еще слышнее – как молчит Тина, да, я слушал молчание Тины и думал, что хорошо бы выделить разные виды молчания, описать и составить их перечень: от многозначительного до угнетающего молчания, от торжественного до горестного, от зимнего молчания в глухой деревне до благочестивого в храме, от скорбного молчания у гроба до романтического в лунном свете – хорошо бы их все описать, все, вплоть до радиомолчания Тины.

Целых десять минут длилось это молчание, прерываемое только вопросами ведущего, который постепенно стал задавать их извиняющимся тоном, будто смущенный долгими задумчивыми паузами Тины, столь непривычными на радио и обретавшими еще больший вес от каждого нового вопрошания. Сначала мне было любопытно, потом эта ее манера стала раздражать. Казалось, она упивалась своим молчанием, как другие упиваются своими речами. В конце концов ведущий поставил песню – “Наследство” Бенжамена Бьоле, – помню, как сейчас, в то утро я слушал ее первый раз, чудная песенка. Я напел две строчки: “Если любишь листопад и осенних дней закат” – знаете? Нет? Ну, ладно.

В общем, после песни Бьоле Тина заговорила.

Не о себе, не о своей пьесе, оставляя без ответа вопросы ведущего, – Тина принялась читать стихи. Сколько, спросила, у нас осталось времени? Десять минут? Тогда позвольте, я вам почитаю кое-что из Верлена, кое-что из Рембо, просто стихи почитаю. И десять минут подряд, в прямом эфире, в прайм-тайм, она декламировала стихи, начала с сонета из “Сатурнийских стихотворений”, потом, едва закончив, не дала ведущему сказать ни слова и приступила к другому сонету, на этот раз Рембо, “В «Зеленом кабаре»”, а дойдя до последних строк, сказала: послушайте, какая там аллитерация: “И кружку пенную, где в янтаре блестит светило осени своим лучом закатным”⁵, она прочитала эти строчки еще раз, выделяя звуки: “блессстит”, “сссве-тило”, “осссе-ни”, “сссвоим, и сразу, без перехода, выдала “Пьяный корабль”, отчеканила все, с первой до последней, двадцать пять строф именно так, как надо, хорошо поставленным голосом, образующимся не в голосовых связках, не в складках гортани, которые щекочет воздух из легких, а гораздо глубже и дальше – где-то в сердце, в утробе, внизу живота, – голосом, заставляющим вас действительно *слышать* морских приливов плеск суровый, *видеть* лишаи солнц и сопли дождей, толпу морских коньков и звездные архипелаги⁶, пока на одной из конкурирующих станций какой-то местный советник клеймил составленный вти-

⁵ Перевод Валерия Брюсова.

⁶ Орывки из “Пьяного корабля” Рембо в переводе Бенедикта Лившица.

хомолку командой бездарей грабительский проект реформ, которые тяжким бременем лягут на муниципальные бюджеты, на другой – некий министр отстаивал этот проект как необходимую при нынешних обстоятельствах меру, чтобы сбалансировать бюджет, стимулировать экономический рост и упрочить доверие граждан, на третьей – профсоюзный лидер предостерегал главу правительства, заявившего о своей решимости держаться намеченного курса и в то же время надеющегося на диалог с обществом, на четвертой – какой-то комик пародировал их всех под деланный смех ведущего утренний эфир; Тина читала стихи, а я сидел в своей ванной комнате, прислонившись к стиральной машине, замерев и вместе с миллионами других слушателей вдыхая воздух лишь в цезурах между полустихиями.

Тина казалась мне то фальшивой, то искренней, то душевной, то кривлякой, я запутался, не понимал, что чувствую: восторг, досаду или же то и другое вперемешку; как бы то ни было, она внушила мне желание посмотреть ее пьесу. Билеты были проданы, оставались только самые дешевые места “с ограниченной видимостью” за тридцать восемь евро, и я наивно подумал, что видимость будет ограничена *частично, слегка*, что за такую цену я увижу *хотя бы* две трети сцены, а если постараюсь и наклонюсь, то, может, и всю целиком, но эта формулировка оказалась не безобидным предостережением, как я полагал, а эвфемизмом, вернее, настоящим обманом: мне досталось откидное сиденье за колонной, да что там колонной, за здоровенным, толстенным несущим столбом, на котором, казалось, держалась вся конструкция, убери его – и здание рухнет; признать, в тот момент я был не против – пусть бы рухнуло на головы мошенников, продавших мне билет; я всячески извивался, вытягивал шею из-за головы соседа, все напрасно. Я не увидел ровным счетом ничего из “Двух с половиной дней в Штутгарте”. Тридцать восемь евро на ветер. Да еще семьдесят остеопату. За вывихнутую шею.

Вышел я оттуда, как нетрудно себе представить, не в самом лучшем настроении. Ну, хорошо, но слушать-то, скажете вы, мне ничто не мешало, и я мог слышать все, от первой до последней реплики, точно повторявшей слова Верлена, когда он узнал о смерти Рембо, – да, но я-то хотел глазами увидеть эту пьесу, “трогательную и волнующую” (газета “Пуэн”), “ошеломительно реалистичную” (“Монд”), “сыгранную двумя актрисами с величайшим мастерством” (“Телерама”), с “юной Лу Лампрос, потрясающе исполнившей роль Рембо” (“Оффисель де спектакль”), и “актрисой года в роли Верлена” (так писали о Тине в журнале “Эль”). Из общего восторженного хора выбивалось только мнение “Фигаро”: “Шедевр пустословия, беспомощная сценография, которую едва ли искупает претендующее на смелость распределение ролей (двух поэтов играют две женщины – гениальная идея!)”, – продюсеры сочли этот пассаж слишком длинным, чтобы поместить его на афише *in extenso*⁷, но все же решили воспроизвести его в сокращенном виде, вот так: “Шедевр [...]!” (“Фигаро”).

Так и было написано крупными буквами на афише у входа в театр: ШЕДЕВР [...]! (“Фигаро”), выше – название пьесы, еще выше – портреты двух актрис, Лу и Тины, лицами в разные стороны; не знаю почему, но меня зацепил взгляд Тины, ее глаза, эти глаза...

О которых ваш друг написал стихи, сказал следователь.

томит хандра
и сердце точит
тоска щедра
бессонны ночи
и до утра
поют мне очи
плен колдовства —
зеленый топаз

⁷ Полностью (лат.).

твоих глаз
(их же два, целых два!)

Точно, сказал я, это про глаза Тины, они точно зеленые, и их точно два. И *какие* зеленые, бог ты мой! Особого, тино-зеленого цвета. Он только в ее глазах и бывает. Васко говорил – цвета Амазонской долины с птичьего полета, с синей прожилкой; радужка – как морские волны, бурлят, клокают, не знают покоя, и черный зрачок тонет в этой стихии, как истерзанный бурей корабль. На афише глаза ее тоже были зеленые, но бледного, размытого дождями цвета; губы тронуты легкой улыбкой, чуть выступающий широкий подбородок и накладные усы в пол-лица.

Я мог бы рассказать следователю, как мне удалось через продюсера спектакля, которого я знал, добиться встречи с Тиной, как мы с ней подружились, мог бы сказать, что с тех самых пор у нас установились нежные доверительные отношения (не стану отрицать, поначалу мне, конечно, хотелось с ней переспать, да и у нее какое-то время была такая мысль, ну, пусть не мысль, а просто что-то шевельнулось, по крайней мере, мне хочется так думать, хотя она сама никаких поводов мне не давала и явно не собиралась изменять Эдгару, – ясное дело, это было до Васко. Но желание быстро прошло, мы оба его сублимировали, сохранив только духовную составляющую эроса, – оно и к лучшему, наша дружба гораздо лучше недолговечного плотского союза, в каком-то смысле она вполне заменяла любовь, может, дружба – это и есть такая форма незавершенной любви).

Я многое мог бы ему рассказать, но все это не касалось сути дела. А сути касалось вот что: мы с Тиной стали видеться каждую неделю, по вечерам в четверг, ее свободный день в театре. Встречались в баре при “Отель Партикюль”, это было удобно вдвойне: во-первых, совсем рядом со мной, во-вторых, и от ее дома недалеко, так что ждать ее мне приходилось не долго. Тина жаловалась, что страдает давней и, видимо, неизлечимой манией: она никогда не учитывала время на дорогу. Выходила из дому минута в минуту тогда, когда ее ждали где-то в другом месте, как будто стоило ей щелкнуть пальцами, и она могла перенестись куда угодно, на самом же деле обычно являлась туда на четверть часа позже, иногда больше и никогда меньше, опаздывала на поезда, что делать, старик, приспосабливайся, – говорила она. Вот почему, когда в одну из таких встреч я сказал ей, что в субботу вечером жду гостей и придет Васко, которого я давно хотел ей представить, а она ответила: “постараюсь забежать”, я рассудил, что рассчитывать увидеть ее в тот вечер среди нас не стоит.

4

Васко нравились только брюнетки или золотистые блондинки, а у Тины волосы были рыжие, с оттенком красного дерева. Тине нравились зеленоглазые мужчины, а у Васко глаза были голубые с коричневыми прожилками. Тина была совершенно не во вкусе Васко, а Васко – совсем не во вкусе Тины. Они никак не должны были друг другу понравиться и все же понравились, полюбили друг друга и мучились из-за того, что любят, потом разлюбили друг друга и мучились из-за того, что не любят, опять сошлись и разошлись насовсем... но не будем забегать вперед.

Очень скоро после этого, после той первой встречи, Васко стал приставать ко мне с вопросами. Он хотел знать о Тине все, – почти как вы сейчас, сказал я, хотите все знать о Васко. Она ведь все-таки тогда пришла. Опоздала, конечно, но пришла. Мы уже перешли к десерту, Васко болтал про боулинг с Малоном, своим адвокатом, – в то время он еще не был *его* адвокатом, а был нашим другом, адвокатом по профессии. Я слушал вполуха – Васко рассказывал ему, как единственный раз в жизни играл в боулинг, как-то вечером в среду в Жуанвиль-ле-Пон, кошмар, он говорил, страшно вспомнить, каждый второй шар улетал вбок... а кегли стояли как строй лилипутских солдат, готовых броситься в атаку на него, и постыдный ноль на табло результатов. То еще удовольствие я получил в этом боулинге, – сказал Васко, и тут в дверь постучали. Это была Тина.

В руках она держала букет желтых нарциссов, который заслонял ее лицо, и только по бокам виднелись волосы и серьги, громадные серьги с лепестками гортензии, она в них походила на какую-нибудь андалузскую принцессу, как представлял себе такую принцессу Васко, потом он так ее и звал: моя, говорил, андалузская принцесса. Это тебе, сказала мне Тина, и я поставил цветы в вазу, а Тина стала извиняться, что опоздала, она сбежала с другой вечеринки, там кое-что перехватила, а шампанского у тебя нет? Я налил ей бокал, она выпила с нами, о чем-то вроде бы мы говорили, я только помню, что все слушали Тину, Васко так прямо замер, придурковато улыбаясь и глядя ей прямо в глаза, будто хотел в них поселиться. Проигрыватель пел “Обещаю тебе”, но пластинка была поцарапанная, и голос Джонни застревал на слове “ложем”. “И звезды в небесах над нашим скромным ложем – ложем, ложем, ложем”, заикался Джонни. Тут Тина встала, подняла лапку проигрывателя, и раз – музыки больше не было...

Она стала петь, сказал следователь.

Ух ты! Откуда вы знаете?

Вот, читайте.

О, где найдется ей на свете ровня?
 Ни мы ее не обольстим, ни вы!
 Я поклоняюсь ей, себя не помня,
 Увы!

Кто видел на ее лице гримаску?
 Кто прятался в укромном уголке,
 Невинную сорвать мечтая ласку
 В тоске?

А если б вы глаза ее узрели,
 Торжественные, словно две свечи,
 В церковном теплящихся приделе
 В ночи!

И даже если музыка запнется,
Разочаровываться не спеши:
Внезапно наша Тина распоеется
От всей души!⁸

Стоя рядом с проигрывателем, который играть перестал, она подхватила слова с того места, на котором заклинило Джонни. Пела “Обещаю тебе” *a capella*, закрыв глаза и держа руку у рта, будто в ней зажат микрофон. Ее голос обещал нам “смятенный беспредел, и жгучие мгновенья, и двух горячих тел согласные движенья”⁹, нога притопывала, рука дрожала, по щекам текли слезы, она пела так, словно стояла на сцене “Олимпии” или “Берси”, с надрывом и томными тремоло (клянусь, такого исполнения я больше никогда не слышал), всю душу вкладывая в пение, а у нас захватывало дух от восторга, умиления и ужаса – пела-то Тина фальшиво, не в такт, не в лад, на октаву выше, чем надо. Словом, как драная кошка.

Завершив выступление, Тина поклонилась публике, выдула еще бокал шампанского, сказала “ну все, мне пора бежать” и на прощанье облобызала нас всех с таким жаром, будто мы ей самые родные люди на свете и другой семьи у нее нету; Васко же этот поцелуй вырубил, как хук с апперкотом. Она ушла, а он так и остался в ауте, домой уполз, забыв у меня свою куртку, а с утра пораньше колошматил мне в дверь, как ненормальный, я ему, видите ли, не сразу открыл, – был, откровенно говоря, в довольно плачевном состоянии с перепою. Сначала мне пришлось подумать, стоит ли по такому случаю вылезать из постели, натягивать трусы, тащиться в коридор и отпирать дверь, потом я собирался послать Васко куда подальше – нечего вламываться к людям в воскресенье ни свет ни заря и вытаскивать их из постели, но передумал – он принес мне круассаны.

Всё! Я не успел открыть рот, как он сказал: ВСЁ! Я хочу знать о ней всё: откуда она, где, с кем и как давно живет, что делает, и главное – как мне с ней встретиться. Давай. Выкладывай.

Он, разумеется, и сам уже порылся в интернете и узнал все, что мог сообщить ему гугл, то есть не так уж много, только ту часть жизни Тины, которую она сочла нужным открыть для всех, отбросив мелкие детали и кое о чем умолчав, сведений масса, а по сути всего ничего: гугл, например, не знал, что она следует пословице, согласно которой утром надо есть как король, днем – как принц, а вечером – как нищий, откуда гуглу знать, что обедала Тина легче некуда: какой-нибудь супчик, или яблочко, или яблочная косточка, а завтракала как людоед, ее завтраки были достойны Пантагрюэля, сам видел, она лопала на завтрак все подряд, все, кроме хлеба с маслом, масло она ненавидела, чего гугл тоже не знал, как не знал и того, что по утрам, после двух йогуртов, двух яиц всмятку и двух чашек кофе, Тина всегда читала два стихотворения: одно Верлена и одно Рембо, стихи Верлена и Рембо она любила больше всего на свете.

Бинго, сказал Васко. Вот оно!

Предлог, чтобы увидеть Тину.

Следователь читал заключения экспертизы, они лежали у него на столе в толстой синей папке с надписью черным фломастером:

Дело В. Аско

В. – это имя, Венсан. А фамилия – Аско. Поэтому Васко. Все звали его только так: друзья, коллеги, Тина, я – все-все. Кроме Эдгара. И следователя. Эдгар говорил: сукин сын. Или более пышно: этот проклятый сукин сын Васко. А следователь говорил: “месье Аско”. Или

⁸ Здесь и далее, если не указано иное, стихи в переводе Елены Баевской.

⁹ Строчки из песни “Я тебе обещаю”, которую исполнял Джонни Холидей. Слова и музыка Жан-Жака Гольдмана.

подследственный, потому что месье Аско был его подследственным. Или – ваш друг, потому что подследственный был моим другом. И в синей папке было много всего собрано о моем друге, начиная с его CV, а CV у Васко начиналось с довольно хлипкого образования: поучился немного истории, немного юриспруденции; потом он встретил одного заядлого библиофила, который заразил его страстью к редким книгам, далее – стажировка в Национальной библиотеке и день, определивший его призвание, – день, когда он держал в руках рукопись “Созерцаний”; Васко, рассказывая о том дне, всегда читал одно и то же, самое знаменитое из этого сборника, а может, и из всей французской поэзии стихотворение из трех александрийских катренов, без названия, оно начинается так: “Я завтра на заре, когда светлеют дали...” Васко его знал наизусть, как многие поколения школьников, бубнил его заунывным тоном, там говорилось, как отец задумал пойти на могилу дочери и положить “букетик падуба и вереска цветок”. И вдруг, читая рукопись, Васко узнал, что сначала Виктор Гюго в этом стихотворении хотел возложить на могилу “букетик падуба и сальвии цветок”. Там было написано: “И наконец дойдя, сложу я на могилу / Букетик падуба и сальвии цветок”, но последний стих зачеркнут и исправлен на “и наконец дойдя, сложу я на могилу / Букетик падуба и вереска цветок”. Васко будто воочию увидел, как почтенный классик отложил перо, погладил свою белоснежную бороду и передумал: решил заменить сальвию на вереск – так благозвучней и точнее, – вот это и заворожило Васко в работе с рукописями: читая их, буквально прикасаешься к процессу рождения шедевра, они позволяют *увидеть* мысль.

После той стажировки Васко пришлось окончить специальное учебное заведение и сдать экзамен: Национальную школу хартий и экзамен на право работать хранителем библиотечного фонда. Он окончил эту школу, сдал экзамен и подал документы в Национальную библиотеку Франции, добрую старую НБФ, – его приняли. Все это было проанализировано, поскольку могло помочь *охарактеризовать личность* Васко и объяснить причины его поступка, все фигурировало в заключении экспертов, которое покоилось в синей папке, лежавшей на столе перед следователем, но я, сидевший перед ним, думал, что, несмотря на старания экспертов, в их заключении был серьезнейший, на мой взгляд, пробел: там не говорилось, как познакомились мы с Васко.

Это случилось пять лет тому назад, я собирал материалы для задуманного романа и пришел в НБФ заказать одну старинную книгу, которая, как я считал, могла бы мне пригодиться, но оказалась совершенно бесполезной, поскольку тот роман я так и не написал. Васко дежурил в зале редкой книги, кроме нас с ним, там не было никого, мы разговорились, и он рассказал мне, что входит в его профессиональные обязанности, – он должен выполнять одновременно две совершенно противоположные задачи: с одной стороны, охранять собрание редкостей, то есть никому их не давать и не показывать, а с другой – пускать их в ход, то есть как раз выдавать и показывать. Чистая шизофрения.

Беседа завязалась в библиотеке, там мы разговаривали исключительно о литературе, продолжилась в кафе неподалеку от его дома и совсем рядом с моим, там наша взаимная симпатия упрочилась, и вскоре Васко стал моим едва ли не самым близким другом. Чаще всего мы с ним встречались на Монмартре, но иной раз я заглядывал к нему в зал Y, хранилище редких книг НБФ, где он священнодействовал вот уже несколько лет.

Хочешь взглянуть на оригиналы “Поры в аду” и “Сатурнийских стихотворений”?

Такое сообщение он послал Тине, вытребовав у меня номер ее телефона.

Тина открыла для себя Верлена в двадцать лет, случилось это в одном дешевеньком баре, из тех, что служили ей вторым домом. Она любила такие – с белесым светом, пивными краями и игральным автоматом в углу, рядом с клозетом; ей нравилось общество алкашей, чье будущее записано на подставках для кружек и билетах моментальной лотереи; хлебнут пивка

– и можно жить дальше. Томик “Сатурнийских стихотворений” валялся на обтянутой красной искусственной кожей банкетке, она открыла его, стала читать и сразу плакать. Слезы ручьем лились по щекам, она нашла в Верлене родственную душу, брата, бегущего, как и она, от реальности, от ничтожной реальности, которую отменяют пьяные миражи; с такой же, как у нее, душой – окрыленной, но опаленной; дерзко ходившего по краю пропасти, упавшего в нее и вновь восставшего с лучезарными стихами, где “призраки парят в зареве багряном, как в песках закат”¹⁰. От Верлена она перешла к Рембо, прочла сначала его ранние стихи, потом “Озарения”, потом неистовый и темный короткий текст, который она по-своему называла просто “Пора”.

Как сладко, когда тебя уносит лавиной слов... Стихи привели ее к прозе, проза к театру, любовь к театру заставила пойти на курсы актерского мастерства, потом в театральный институт, первый раз она провалилась, поступала еще раз, еще раз провалилась, там полторы тысячи претендентов на тридцать мест, ни малейшего шанса, настоящий Верден, Дарданеллы¹¹, бойня, похлеще, чем на медицинский факультет, а в третий и последний раз два первых прослушивания прошли удачно, а на третьем она едва не сорвалась на отрывке из зануды Корнеля, но все-таки прошла по конкурсу и переступила порог института со странным чувством: как будто выполняет свой долг перед жизнью, ну а с тех пор, как окончила, ценность ее собственной жизни определяется театром, в театре она живет, и жизнь ее состоит в том, чтобы заучивать тексты и произносить их перед публикой, это две фазы жизненно необходимого процесса, как вдох и выдох; только две вещи на свете приносили ей удовлетворение: три удара в пол театрального жезла и чтение стихов Верлена и Рембо, непревзойденный источник энергии; собственно, читать ей больше не требовалось – она знала и могла декламировать их на память, если не все, то большую часть, а не только самые известные, вроде “Осенней песни” или “Ощущения”, и, когда люди удивлялись, что она их знает *наизусть*, она просто отвечала, прикладывая руку к губам: но это не моя заслуга, они сами входят в сердце и исходят из уст.

Да, хочу, лаконично ответила Тина на эсэмэску Васко.

¹⁰ П. Верлен. Закаты. Перевод Александра Ревича.

¹¹ Верден, Дарданеллы – имеются в виду кровопролитные сражения во время Первой мировой войны.

5

“Да” ответила Тина и Эдгару, когда тот спросил, хочет ли она стать его женой.

А когда следователь спросил меня, знал ли я Эдгара Барзака, мужа, – вы его раньше видели, мужа-то? – я ответил: всего один раз, на званом обеде у него дома, то есть у них дома, поправился я. У Эдгара и Тины.

Конечно же, я мог бы подробно описать ему Эдгара, начать с того, что ему под сорок, у него квадратная челюсть, зеленые глаза – да, у него тоже зеленые, – и светлые, очень светлые волосы, а росту в нем метр девяносто, не меньше. Что еще? Он никогда не расстается со своим дутиком. Никогда. Эдгар вырос в Провансе, в *бастиде*, большом каменном доме, где до сих пор живут его родители. С самой свадьбы. Огромное каменное строение, а вокруг оливы и кипарисы. Семья – все сплошь замшелые буржуа и католики в сотом колене, такая семейка. И малость прижимистые – зимой из экономии топили не во всех комнатах родового гнезда. Вот откуда у Эдгара повышенная чувствительность к холоду, вот почему он всегда надевает поверх пиджака дутый жилет из темно-синего нейлона, – этот жилет бросается в глаза, он-то и поразил меня при первой нашей встрече.

Вот я и сказал – дутик. Эдгар никогда не снимал свой дутик. Он знал, как хорошо выглядит в этом дутике и *несмотря* на него, а Васко вообще называл его ни Эдгаром, ни Барзаком, а только метонимически – Дутиком. Так и говорил: Дутик злится, Дутик хочет моей смерти. Дутик дутиком, но в Эдгаре была какая-то природная, непринужденная грация, *sprezzatura*, как говорят итальянцы, то есть врожденное изящество, какого не приобретешь нарочно, оно или есть, или нет, и в Эдгаре оно было (а в Васко – нет). Кроме того, у Эдгара было атлетическое сложение: широкие плечи, мускулистые руки и торс, хоть ваяй его в мраморе, и когда я его увидел рядом с Тиной, увидел, как они рядышком сидят на диване в гостиной, то подумал, что смотреть на эту пару в постели было бы не противно, скорее наоборот.

Тина тогда спала по большей части с Васко, Эдгар-то этого не знал, а я знал, поэтому мне было очень неловко, когда позднее, в тот же вечер, он стал мне рассказывать, как встретился с нею.

Тина в то время уже не играла в театре. И слышать о театре не хотела. Все это после “Сирано”. После того как один довольно известный режиссер предложил ей роль Роксаны – ее *первую* первую роль! – сначала все восхищался, какая она потрясающая, так восхищался, что однажды пригласил ее на ужин, якобы поговорить о пьесе. А после ужина к ней подкатился, но она его отшила. И тогда сразу оказалось, что не такая уж она и потрясающая, как-то не так играет, и ему уже не казалось, что она – именно та Роксана, какую он искал, и он уже не был так уверен, что она создана для этой роли. Ладно, подумала Тина, пусть мне опять дадут вторую роль, но нет, никакой второй роли, вторые роли все заняты, нет даже роли статистки, и режиссер предложил ей быть деревом.

Вы знаете театр? Но даже те, кто не знают театр и ни разу туда не ходили, – даже они знают “Сирано”. Хотя бы в общих чертах. Нос, монолог о носе, сцена под балконом... Третье действие, сцена седьмая: Сирано шепотом подсказывает Кристиану страстные слова, Роксана на балконе млеет... помните? Следователь помнил. Отлично помнил. Так вот, режиссер хотел заставить Тину играть дерево под балконом. Хотел, чтоб костюмер приделал ей к рукам ветки и чтоб она стояла задрав руки. Элемент декорации. Три года театральной школы – ради того, чтобы ее разжаловали в элемент декорации. Слишком накладно, можно бы употребить ее с бóльшим толком, дать, например, произнести немного текста, но нет, ей было велено стоять на сцене задрав руки. Все, я отваливаю, сказала Тина. Счастливо оставаться со своими ветками. А я отваливаю. Прощай, театр. С тех она торгует книгами.

Но вернемся немного назад.

В ее *басконские годы* в Биаррице – Тину тогда еще звали Альбертиной, ей исполнилось восемнадцать лет – она отхватила аттестат с отличием и восемнадцать баллов по французскому языку и литературе; лето, она не знает точно, что собирается делать дальше: то ли бездельничать, то ли идти учиться на филологический, а впрочем, некоторые считают, что это примерно одно и то же. Знает только, что хочет в Париж, жить в Париже. С собой у нее небольшой чемодан на колесиках, сзади здоровенный рюкзак, впереди вся жизнь, у ног ее весь город, под ногами лестница на седьмой этаж без лифта – она сняла квартиру-студию на бульваре Барбес у хозяина, державшего также кебабную с парикмахерской, он говорил своим клиентам “шеф”, они ему – “уши открыть, с соусом самурай”. Она укоротила имя: из слишком книжной Альбертины стала Тиной. Тина открыла для себя театр, прошло пять лет – Тина театр бросила. Надо решать, что делать дальше. Дай ей волю, она бы только и занималась, что чтением, выпивкой да сексом. Любить и быть любимой ей не нужно, а нужен голый секс, чем больше, тем лучше, наслаждаться, дарить наслаждение и ничуть не раскаиваться, повторяя в уме за Бодлером: “Но что вечное проклятие тому, кто на секунду обрел бесконечность наслаждения?”¹²; для нее наслаждение – отдушина, отрада, способ хоть ненадолго сбросить повседневное бремя, ведь жить – ужасно тяжелый труд.

Она встречает букиниста, он ей нравится. Букинист рассказывает, какая это славная работа: свободное расписание, перед тобой проходят люди со всего света, весь день на свежем воздухе, рядом Сена; о неприятных сторонах профессии он не упоминает, а только говорит, что всегда есть вакансии. “Подавай заявление!” Она идет в мэрию Парижа с папкой, в которой сложены ее CV, мотивационное письмо, копии всяких документов, выстаивает очередь; мест всего двадцать на сотню с лишним желающих – ее не берут. Букинист предлагает ей поработать его помощницей и набраться опыта: заменять его три раза в неделю и получать за это двадцать процентов выручки; она согласна, и с пятницы по воскресенье она стоит на набережной Гранз-Огюстен перед бутылкочно-зелеными прилавками.

И вот однажды ей встречается Эдгар. Случилось это вечером в феврале, он закончил пробежку вдоль Сены и остановился сделать дыхательные упражнения напротив книжных прилавков Тины. Было холодно, Тина дрожала, Эдгар снял свой дутик, накинул ей на плечи: вот, наденьте! Тина растерялась, не нашла, что сказать, но слезы бывают красноречивее уст: уста молчат, а слезы говорят, – Тина расплакалась. Расплакалась в объятиях Эдгара – она сама себе обрыдла, ей кажется, будто она шатается на узеньком карнизе на краю пропасти; она трясется от рыданий, обмякнув в его объятиях, и навзрыд повторяет: я устала, устала. В ту ночь они спят вместе, и Тине первый раз за долгое-долгое время спокойно.

С самого детства в ней живет здоровенный олень, он буянит, ревет, раздирает ей внутренности своими ветвистыми рогами. С тех пор как в ее жизни появился Эдгар, олень унялся, свернулся калачиком и, главное, не бодается, как будто Эдгар обломал ему рога. Тина ночует у Эдгара два-три раза в неделю, потом – пять-шесть раз, Эдгар толкует ей о прелестях семейной жизни и постепенно приводит к мысли поселиться вместе. Она решает съехать со съемной квартиры, пакует коробки – десять коробок, всего десять штук, вот и все мое прошлое. На кусочке картона – обратной стороне упаковки от бумаги для самокруток – она пишет два имени, свое и Эдгара, рядом, через изящную лигатуру: ЭДГАР & ТИНА и, напевая “Эдгар и Тина... Эдгар и Тина”, приклеивает картонку скотчем на *их* почтовый ящик.

Тина вернулась в театр, прошло несколько лет, и она забеременела. Пора бы *завести семью*. Семья – это такой бардак, думала Тина, это когда разным людям приходится жить под одной крышей и на ограниченном пространстве – людям, как правило, разного возраста, с разными интересами, целями, разными, а иной раз несовместимыми характерами и противоположными темпераментами; они настолько разные, что почти не разговаривают друг с дру-

¹² Ш. Бодлер. Скверный стекольщик. Перевод Елены Баевской.

гом. Или разговаривают, но друг друга не понимают, а понимают одно: что им, по сути, нечего сказать друг другу, как будто это люди разных культур и говорят они на разных языках, – и несмотря на это, жить надо вместе, а как – никто не знает, во всяком случае, она, Тина, понятия не имела; такой бардак – семья, да еще материнство – такая головная боль!

Пока сама не забеременела, Тина говорила: если женщина хочет покончить с собой, она себя не убивает, а становится матерью, поэтому на сообщения о новорожденном она отвечала соболезнованиями. Теперь она колеблется, подумывает избавиться от ребенка, делает первое УЗИ – там двое; и почему-то, не колеблясь и доли секунды, она решает: оставляем! А когда близнецам исполнился год, день в день через год после того, как она произвела на свет Артюра и Поля, Эдгар встал на одно колено, достал из кармана кольцо белого золота с сапфиром и сделал ей предложение. С оговоркой: “Венчаться придется в церкви, так хочет мама, ты же ее знаешь!”

И вот в тот вечер, когда Тина пригласила меня на ужин, а Эдгар рассказал мне, как они с Тиной встретились, я спросил, верит ли она в Бога.

Видишь это шампанское? Тина показала на стоявший перед ней бокал “Рюинара”. Это Вселенная, а пузырьки, которые бегут вверх, – планеты. Мы живем на таком пузырьке, и некоторые из нас, жителей пузырька, видят сомелье, который наливает нам шампанское. Или же думают, что видели, или надеются увидеть. Что до меня, я сомелье никогда не видала и не заморачиваюсь по этому поводу, но шампанское пью. Венчаться в церкви она, однако же, согласилась.

6

Фонд редкой книги
Счастья минуты редки
(И ты на столе)

Семьдесят девять метров, – сказал Васко, показывая на башни НБФ, – они высотой в семьдесят девять метров. Тина молчала, поэтому он продолжил изливать на нее поток цифр: НБФ каждый год обслуживает более миллиона посетителей, в ней четыре тысячи читательских мест, девяносто один лифт, из которых четыре третий день не работают, шестнадцать эскалаторов и шестьсот пятьдесят туалетов. Тысячи книг доставляются из хранилищ в читальные залы по подвесному рельсу протяженностью в восемь километров. И это еще не все: сто тридцать одна установка для кондиционирования, тысяча триста конвекторов и шестьсот пятьдесят восемь вентиляторов и вытяжек постоянно обрабатывают воздух, так что в хранилища, кабинеты и читальные залы он поступает профильтрованным; в НБФ дышишь более чистым воздухом, чем на альпийских лугах. Если начнется эпидемия, спастись надо здесь.

Через два дня после того, как Васко отправил Тине эсмэску, они встретились на огромной эспланаде НБФ над Сенной у подножия четырех башен в форме раскрытых книг и долго смотрели на зеленые дебри внизу – с эспланады были видны лишь верхушки деревьев; оба молчали, робели, держались, как позже сказал мне Васко, *отчужденно*, как будто некое чутье подсказывало им, что должно произойти, как будто они знали, что вот-вот случится нечто непоправимое, но еще можно дать задний ход, остановить неумолимую машину, которую называют *фатумом* или же не столь вычурно – судьбой, можно расстроить ее прихоти; для этого надо было бы, чтобы Тина извинилась или, еще лучше, без всяких извинений пошла прочь, пятясь, спустилась по ступеням, на которые только что взошла, потом вошла в метро, из которого только что вышла, снова села в поезд, но проделала обратный путь: по 14-й линии до Сен-Лазара, потом по 3-й до Мальзерб и вернулась домой. Надо было, чтобы фильм прокрутился назад или чтобы он оставался немым, но Тина не ушла, а Васко заговорил.

Когда потом, много позже, они будут вместе вспоминать о том первом свидании и *первородном монологе* (так они назовут его по аналогии с первородным грехом), Тина признается Васко, что в ту минуту подумала: язык у этого парня подвешен что надо, но сам он скучный, как осенний дождь. И оба они, лежа на смятых простынях в гостиничном номере, будут смеяться над своим смущением и над смущенным смехом Тины, – она и правда рассмеялась тогда, на эспланаде, судорожным смехом, который не смогла подавить, в ту минуту она пожалела, что пришла, попыталась найти предлог, чтобы улизнуть, и черт бы с ними, с Верленом и Рембо, но, ничего не найдя, подумала: господи, этому конца не будет... и уж никак не могла бы вообразить, что час спустя станет с жаром обнимать этого зануду ногами.

Словом, вошли они в библиотеку. Сначала пришлось вынуть все из карманов, открыть сумку, пройти через рамку – почти как тут у вас, – потом Тина оставила свои вещи в раздевалке, ей выдали прозрачный пластиковый футлярчик, куда она переложила часть вещей из сумки, она сняла плащ и осталась в обтягивающих выцветших, искусно разодранных на коленках джинсах с черным кожаным поясом, черных сапожках и голубой блузке с расстегнутыми верхними пуговицами, в вырезе, сказал мне Васко, виднелся сероватый лифчик, давно утративший эротическую белизну в барабане стиральной машины.

Они прошли через мастерскую реставраторов, Тина увидела хирургов НБФ за делом: они обновляли переплеты, уголки, рубчики, корешки, прошивку и позолоту разных книг; ее поразило, как скрупулезно и старательно они работают, восхитили их кропотливость и терпение,

она заворуженно разглядывала все инструменты и материалы, которые они используют: кожу, ткань, японскую бумагу, клей, – там, говорила Тина, много клея, порошкового клея *Klucel*, – его однажды нюхнул Васко, он ей рассказывал, взял и вдохнул, а потом минут двадцать был в блаженном улете.

Затем они миновали турникет и тяжелые двери, спустились по эскалатору, дальше еще один турникет с охранником, еще одни двери, еще несколько эскалаторов, длинный коридор на уровне земли, и вот он наконец, зал У, читальный зал Фонда редкой книги. Там стояли столы, на столах индивидуальные лампы и такие мягкие подставки из бархата или полотна, которые скатываются валиком и позволяют пользоваться книгой, не повреждая переплет, – Васко говорил, их называют футонами или люльками, в зависимости от размера. Если бы все шло, как положено по правилам, Васко должен был бы оставить Тину ждать в зале, а сам пойти за оригиналом “Сатурнийских стихотворений” в хранилище, или, выражаясь официально, служебное помещение для хранения документов, где собраны тысячи книг, принести его в читальный зал, положить на футон и предоставить ей листать страницы, сколько хочет; вместо этого он повел Тину в коридор, в конце которого и находилось хранилище, куда имели доступ немногие, тщательно отобранные сотрудники, обладатели электронных бейджей, которые они обязаны всегда носить при себе и которые открывают комнату в пятьдесят квадратных метров с единственной дверью и без окон, где хранятся главные сокровища НБФ. Туда-то, в Большое хранилище, Васко и задумал привести Тину.

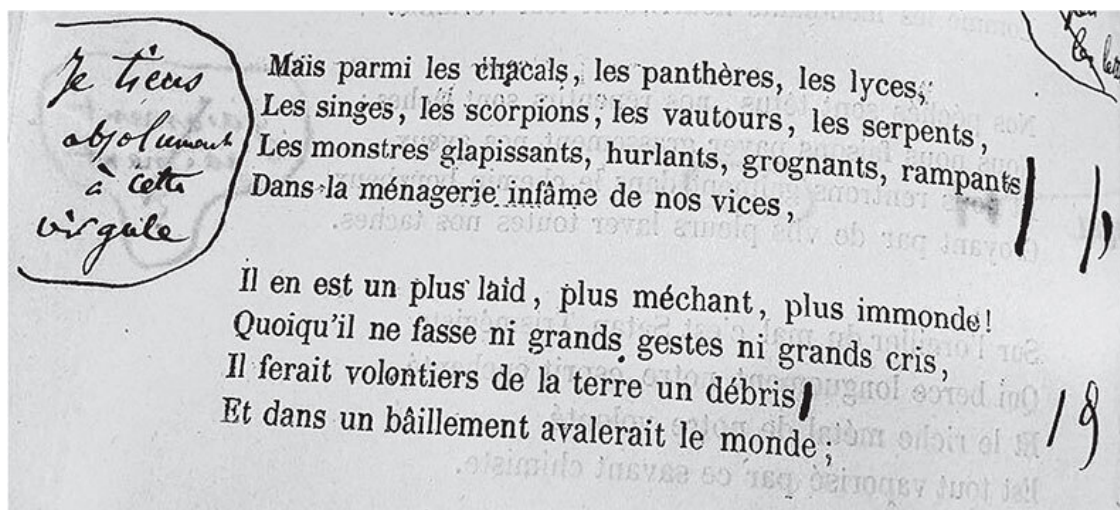
На другом конце помещения, напротив двери, которую Васко не преминул за собой запечатать, стоял стол из канадской березы, не очень широкий, но метра в два длиной, перед столом – стул; Васко предложил Тине сесть и через полминуты принес толстый том с золоченым обложком, который достал из картонной коробки, положил его на стол, вернее, на приготовленную заранее люльку из лилового бархата, бережно раскрыл и, выдержав паузу, сказал: за три года, с 1452-го по 1455-й, из типографии Гутенберга в Майнце вышло сто восемьдесят экземпляров Библии, монах-переписчик за это время мог бы скопировать только один. Сегодня во всем мире сохранилось сорок девять таких экземпляров, из них двенадцать отпечатаны на пергаменте. Из этих двенадцати только четыре полных, один из них хранится в НБФ, и он перед тобой.

Когда в следующий четверг Тина мне все это рассказала: как Васко выложил перед ней Библию Гутенберга, самую первую печатную книгу, главнейшее из всех сокровищ библиотеки, которому нет цены и которое не показывают никому, за редчайшим исключением, – рассказала, что она держала эту книгу в руках и листала страницы, воочию видела лигатуры, сокращения, буквы, миниатюры, латинский текст, набранный готическим шрифтом в два ровных, как башни НБФ, столбца из сорока двух строк, что прочитала опять-таки своими глазами первую, напечатанную красными буквами фразу и вдобавок разглядела исправления, внесенные пером между строками и на полях, – а в заключение сказала: *в общем, какой-то мудреный старинный фолиант*, я не знал, на кого больше злиться: на Васко, который дал в руки едва знакомой женщины Библию Гутенберга, вместо того, чтобы показать ее мне, своему лучшему другу, или на Тину, которой выпало такое счастье, а ей по барабану.

После этого Васко отошел вглубь зала – кое-что принести, так, одну штучку – и через две минуты вернулся с правленной корректурой “Цветов зла”. Вот сукин сын, сказал я Тине, с дикой завистью разглядывая фотографии, которые она прокручивала передо мной на треснутом экране айфона: несколько заискивающее посвящение “непогрешимому поэту”¹³, рукописное “в печать” с подписью “Ш. Бодлер”, поправки черными чернилами и знаменитая запятая, которую снял типограф и восстановил поэт, – тут я словно услышал, как Бодлер чертыхнулся

¹³ Так начинается посвящение “Цветов зла” Теофилю Готье.

и произнес незнакомым нам голосом знакомые слова: “Категорически настаиваю на этой запятой”.



Васко опять ушел, оставив Тину наедине с “Цветами зла”, на этот раз отсутствовал чуть дольше и вернулся с оригинальным изданием “Поры в аду”. Кладя его на стол перед Тиной, он задел ее пальцы своими, и от этого ее вдруг захлестнуло мощное, острое желание; непреодолимая жажда наслаждения обожгла нутро, притом едва ли не больше, чем насладиться самой, ей хотелось доставить наслаждение другому и именно так извлечь удовольствие для себя; пройдет несколько месяцев, и она признается Васко в гостиничном номере, что то легчайшее нечаянное касание пробудило в ней страсть, скажет грубо, напрямик, словами, произносить которые неприлично и стыдно, я тогда захотела тебя, сразу, – Тина погладит его большой палец своим указательным, – захотела расстегнуть твой ремень, сорвать трусы, взять губами твой член, я *бешено хотела* ощутить, как он растет под моим языком, хотела сосать, глотать, поклоняться тебе, стоя перед тобой на коленях, любовь моя, – все это там, в гостинице, Тина скажет Васко, но следователю я этого передавать не стал, сказал только, что их обоих охватило слепое сокрушительное вожделение и они сдерживали до поры его приступы, оттягивая миг, когда наконец сольются их губы, ведь пик удовольствия заключен в том, пусть недолгом, отрезке времени, когда еще ничего не сказано, но все уже решено, оба томятся нежностью и неизбежностью, оба знают: сейчас, вот сейчас... поцелуй.

Меж тем Васко принес оригинальное издание “Сатурнийских стихотворений” и вручил его Тине. Она открыла книгу дрожащими от волнения руками и, широко, по-детски распахнув глаза, стала читать по порядку: “Покорность”, *Nevermore*, “Через три года”, “Обет”, читала едва слышным в тишине зала голосом, сосредоточенно, как читают молитвы, – это Васко мне говорил, и до сих пор его рассказ совпадал с рассказом Тины, а дальше их слова расходились в одном-единственном, но очень важном пункте. Он, Васко, уверял, будто его поцеловала Тина, она же говорила, ничего подобного, это Васко вздумал ее поцеловать, тот первый поцелуй был его *дерзкой затеей*, и всякий раз, как кто-нибудь из них пересказывал мне, что тогда произошло, оба – и он, и она – требовали, чтобы я принял чью-то сторону, а я уклонялся. Но вы же следовател, вам и карты в руки.

Твой лоб на мой склони, ладонь в ладонь вложи,
 И клятвы расточай (а завтра не сдержи),

Девчонка шалая, – и до зари проплачем!¹⁴

Это последний терцет “Усталости”, пятого из “Сатурнийских стихотворений”. Четыре первых Тина прочитала тихо, как и начало этого сонета – оба катрена и первый терцет, – но первый стих последнего терцета продекламировала громко и отчетливо: “Твой лоб на мой склони, ладонь в ладонь вложи”; естественно, Васко увидел в этом приглашение, призыв, и что бы вы сделали на его месте? Скорее всего, точно то, что сделал он: вложили бы ладонь в ее ладонь и лоб на ее лоб склонили и губы заодно прижали бы к ее губам. Но все-таки не он ее поцеловал, упирался Васко, для поцелуя губы должны двигаться, а он их только приложил к ее губам, они ведь так просили нежности, и тогда Тина вдруг уронила на стол Верлена и вскочила. Васко уж подумал: сейчас отпрянет и убежит, и больше он ее не увидит, и она ему больше ни слова не скажет, но Тина вместо этого заговорила на другом языке, искони всем понятном: порывисто обхватила его затылок и впиалась в его губы.

Васко одной рукой держал ее талию, другой – затылок, вот теперь уже он целовал ее – в шею, в уши, а следовательно, развесив уши, слушал мой рассказ: как Васко расстегнул остальные пуговицы на блузке прильнувшей к нему Тины и попытался расстегнуть бюстгальтер одной рукой, потом другой, потом обеими сразу, но никак – дурацкая застежка в четыре ряда крючков требовала умственных усилий и сложных манипуляций, поэтому он просто спустил бретельки, и Тина, которая бюстгальтер носила всегда, оказалась с обнаженной грудью.

Не так уж много есть на свете способов заниматься любовью, во всяком случае там, в Большом хранилище, выбор был невелик: стоя, прислонившись к стеллажам, или лежа – на полу или на столе. На стеллажах стоят книги, на полу жестко, холодно и неудобно, оставался только стол. Кто не видал такого в кино: чья-то рука лихо сметает с письменного стола бумаги и папки, и на освободившемся пространстве быстренько перепихиваются сослуживцы, и кто хоть однажды не мечтал о таком, может, и вы когда-нибудь прямо на этом столе, сказал я и игриво улыбнулся, но следовательно не ответил, и я вернулся к Васко, он-то как раз примеривался, чтобы как в кино, но с тамошнего стола никак нельзя было все к чертовой матери скинуть на пол, на нем лежали не просто бумажки и папки, а Библия Гутенберга, корректура “Цветов зла” с пометками автора, оригинальное издание “Поры в аду” и аналогичное – “Сатурнийских стихотворений” – самые ценные редкости из Фонда редких книг, поэтому Васко оторвался от губ Тины и сказал: надо это убрать.

Только представьте себе эту парочку: распаленные взаимной страстью, изнемогая от желания, наполненные им до краев, они – представьте только – заставляют себя расцепиться, обуздать свои инстинкты, умерить пыл и бережно, с предельной осторожностью раскладывают книги по коробкам и ставят каждую коробку на место, потому что поставленные не на место книги в библиотеке из тысяч и тысяч томов – это книги пропавшие, их называют книгами-фантомами, и Васко этих фантомов боялся панически. Поэтому, снедаемые неотступным адским желанием, они методично, скрупулезно расставили книги по полкам.

Лишь после этого Тина легла на стол и чуть приподнялась, опираясь на локти, чтобы Васко снял с нее джинсы, у него не сразу получилось их стянуть, они застревали внизу, на ступнях, но, повозившись, он все-таки справился. Теперь на Тине оставались только синие стринги, и их она спустила ниже колен. Васко стал целовать ее губы, щеки, шею, груди, пробирался все ниже, сначала вертикально, потом концентрическими кругами – над и под пупком, с внутренней стороны бедер, Тина чувствовала его горячее дыхание, он все бродил, нерешительно, робко, несмело вокруг да около крошечной бездны, гулял по краю, будто боялся сгинуть в ней, пока Тина, изнывая, не схватила его за волосы и, жадно, требовательно придвинувшись, не прижалась сама к его губам.

¹⁴ Перевод Георгия Шенгели.

Тогда язык Васко проник внутрь и, вместо кисловатого вкуса, как могло бы быть, ощутил жар, маслянистую влагу. Тина в истоме откинула голову на бархатную люльку, где только что лежала Библия Гутенберга, волосы ее растрепались, веки опустились, рот приоткрылся; Васко, пригнувшись и сжимая ее груди вытянутыми вверх руками, все ласкал ее языком, сначала тихонько, потом *crescendo*; Тина обхватила и все плотнее сжимала ногами шею, затылок Васко, так что он почти терял сознание и мог бы умереть, так вот сплюснутым; полупридушенный, еле слыша, как Тина прерывисто дышит и хрипло просит его продолжать, Васко, стараясь из последних сил доставить Тине удовольствие, неистово вылизывал ее, хотя она никак не ослабляла хватку; в момент оргазма Тина резко выгнулась и дернула голову Васко, он со всего маху ударился челюстью о край стола и без чувств замер у ее ног.

7

Тина часто вспоминала первые дни и недели жизни с Эдгаром, тогда им казалось невыносимым заснуть без секса, и спали они потом, сплетенные в единое тело о двух головах. С рождением близнецов график стал меняться, сначала с одного, а то и двух раз в день они перешли на раз или два в неделю, затем – на раз или два в месяц, и постепенно установился крейсерский режим, они трахались примерно так, как доктора рекомендуют употреблять спиртное: *весьма умеренно*.

Трижды в неделю, по вечерам Эдгар посещал фитнес-клуб – практиковал *crossfit, burning cycle, boxe & rope*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.